

Александр Куприн

К славе



Александр Иванович Куприн

К славе

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2476355

Аннотация

«Когда я вышел в 18** году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза...»

Содержание

Александр Иванович Куприн К славе

Когда я вышел в 18** году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза... Общество в таких городишках известно: мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой; все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватая всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтекки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось. Приехал к нам новый следователь.

Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умении слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые луч-

шие перлы души высыпаете, а он знай себе головой кивает да погмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел до коллик смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрзные анекдоты.

Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольнo, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей.

Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули, но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцветную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался! И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист четвертого класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и «с ужасными жестами отчаяния» (так стояло в пьесе) кричу ей: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре – я трепещу от негодования!» Как дойдет до этого места, – любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы как манекен держитесь! Видите сами, – здесь ремарка: „жесты отчаяния“. Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать!»

Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное – чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценариус выталкивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, вращая глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я, к ужасу своему, чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Ну вот не могу припомнить и – баста! Прошла минута, может быть, две, – для меня этот ужас длился целые годы. Я стою, окаменев в отчаянной позе, и молчу, и ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец из суфлерской будочки до меня доносится: «О, проклятие, каждый раз...» Я делаю последнее, невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем трезоре, я попищу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом, а перековерканная фраза обратилась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал.

Таким образом, я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и, кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драматическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову, другая утверждала, что нарочно для этой роли заказа-

ла платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось... В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу.

Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, точно оссиановская тень, и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение? Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, – ни один образ не застелет этого неуловимо-своеобразного тонкого образа. Такою именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять себе ее наружность: гибкое худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначеем, жил открыто. Я часто, в продолжение многих лет, бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких

платьницах выровнялась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно: и простая, внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно-резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого, глубокого, передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь.

Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрасиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело за живое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности, виденного, слышанного и перечувствованного. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.

Столкнулись мы как раз перед ее выходом, в тесном коридоре, между стеной и кулисами. На ней было белое простенькое платье, схваченное в талии голубой ленточкой. Странно изменилось ее лицо под гримом: оно стало как будто незнакомым, черты его выяснились резче и красивей, глаза, подведенные и ярко блестящие от внутреннего волнения и от темной краски, казались неестественно громадными.

– Что, – спросил я ее, – жутко приходится? Она прижала обе руки к груди и посмотрела на меня каким-то просящим

О помощи взглядом.

– Страшно... Тут вот так и бьется... Я, кажется, откажусь выйти на сцену. Ну куда я дену свои руки и ноги? Боже мой, какое мученье!

Позвал ее сценарист. Я стал прислушиваться. Вместо веселых вступительных слов ее роли, вместо звонкого хохота, требуемого пьесой в этом месте, я услышал робко срывающийся, как будто чужой голос и невольно зажмурил глаза. Стыдно мне как-то стало за Лидочку и страшно. Я знал ее нервы и самолюбие и понимал, как она сама страдает от своей неловкости.

Несколько томительных секунд я ничего не слышал, а когда наконец боязливо заглянул из бокового марлевого окна на сцену, то так и окаменел от удивления. Лидочка не только оправилась, – она была неузнаваема. Каждое движение ее отличалось непринужденной и уверенной грацией, каждое слово произносила она именно так, как его произносят в обыденной жизни. Впрочем, не на одного меня Лидочка произвела такое впечатление. Я окинул глазами зрительную залу и увидел все давно знакомые лица оживленными и улыбающимися.

Вся роль Лидочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десятках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых. Когда она, напевая какой-то мотив и подбрасывая на ходу большой резиновый мяч, направилась к дверям, вслед ей раздались крики и шумные аплодисменты. Она вернулась и растерян-

но, немного по-институтски раскланялась. Ее вызвали еще и еще – раза четыре, кажется. Я стоял у дверей и отворял их. Она вышла задыхающаяся, со сверкающими глазами, с румянцем, выступившим даже из-под грима, с пересохшими от волнения губами. На мое поздравление она протянула мне обе руки.

Весь этот вечер Лидочка была чрезвычайно, даже, пожалуй, неестественно оживлена и часто смеялась нервным, беспричинным смехом. Я раза два подходил к ней и рассказывал что-то. Она слушала меня, не перебивая, но отвечала невпопад, глядела на меня неотступно, но в ее глазах сияло такое мечтательное счастье, губы складывались в такую блаженную улыбку, что мне становилось понятно, как далеко были ее мысли от моих рассказов. Она смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдаленный предмет, на какое-нибудь пятнышко на обоях: самого пятнышка не видишь, а оторваться от него невозможно.

Так и Лидочка, должно быть, все еще видела перед собой подмости, возвышающие ее над сотнями голов, слышала оглушительный, пьянящий плеск аплодисментов, и ее опять тянуло к тому прекрасному сну, от которого она только что проснулась. Среди публики Лидочкин дебют положительно произвел эффект, и многие поспешили в тот же вечер высказать ей это в самых лестных выражениях. Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию.

Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое, и притом – так настойчиво, как трудно было от нее ожидать. Она даже осунулась и побледнела. Что она тогда чувствовала, как работало ее воображение – господь ее знает; никому она об этом не говорила. Но вероятно, в ее душе именно тогда и родился целый мир новых надежд и ощущений, имевший громадное влияние на всю ее последующую жизнь.

Наконец поставили и спектакль. Я был в числе зрителей – за кулисы меня больше уже не пустили, потому что пошли в театре строгие порядки, и спектакль ставил настоящий, заправский актер не без имени.

Лидочка, правда, не избегла общей участи дебютантов: говорила иногда слишком тихо, делала большие паузы... Но зато я видел настоящую Офелию, тот самый прелестный женственный образ, который нарисован Шекспиром. Она такой и явилась пред нашими глазами: нежной и робкой, любящей и в то же время жертвующей любовью ради придворного этикета и безусловного преклонения пред отцовскою моралью. Она не героиня: в ней скорее больше чисто детской доверчивости и податливости. По натуре она пряма и не умеет лгать, но привычка постоянно держаться на виду делает то, что любовь ее никому не кидается в глаза. Никому и в голову не приходит догадаться, что совершается в ее душе, до тех пор, пока долго скрываемаемая внутренняя борьба не раздражается внезапным безумием. Тогда только каждый

начинает понимать, что

Все это яд глубокой скорби сердца.

Лидочке устроили шумную овацию. Кто-то поднес ей громадный венок из живых цветов, перевязанный широкими розовыми атласными лентами. Я сам бесновался не хуже других, но все-таки успел заметить по той же блаженной улыбке на Лидочкиных губах, по загоревшимся щекам, что у нее закружилась голова. Я ее проводил домой поздно ночью, счастливую, обессиленную. Мы шли под руку. Было то время весны, когда только начинает распускаться сирень. В теплой дремлющей темноте ночи точно разливалась какая-то душистая, сладостная нега, точно веяло в лицо чье-то дыхание, и чьи-то жаркие губы, казалось, вот-вот приблизятся к губам.

Мы с Лидочкой шли очень скоро и далеко оставили за собой остальное общество. Я нагнулся и поглядел на нее сбоку: ее головка была закинута кверху, и глаза устремлены на мигающие серебряные звезды. Почувствовав мой взгляд, она вздрогнула и вдруг крепко прижала к себе мою руку.

– Холодно? – спросил я вполголоса.

– Нет, – говорит, – не холодно, а я от своих мыслей вздрогнула. Я об вас сейчас думала.

Страшно мне и сладко от ее слов сделалось.

– Обо мне. Неужели – обо мне?

– Да, – о вас. Скажите, умеете вы вставать рано утром?

Часов в шесть?

Я отвечал, что я не только в шесть часов готов встать, но даже... не помню, право, что я такое именно сказал; надо думать, что-нибудь очень глупое.

Мы в это время подошли к ихней калитке и остановились, чтобы подождать отставших. Она оглянулась назад, потом приблизила ко мне лицо и проговорила быстрым шепотом:

– Завтра... в нашем саду... Рано, рано... часов в шесть, в половине седьмого... Папа встает поздно.

И опять крепко пожала мне руку.

Надо сознаться, господа, что я в то время был чрезвычайно молод, непростительно молод. Домой дошел я точно на крыльях и, ей-богу, не могу сказать, спал или не спал в эту ночь. Бывает такое состояние: не то спишь, не то бодрствуешь, не то гредишь. Это – когда на душе есть какое-нибудь особенное, крупное впечатление. Понятное дело, я тогда же догадался, что уже давно влюблен в Лидочку (хотя, говоря откровенно, раньше этой любви не замечалось ни малейшего признака). Думал я всю ночь, как увижу ее завтра, робкую, краснеющую за свою вчерашнюю смелость, как я ей скажу, что полюбил ее с первого взгляда... Вот только меня останавливало, в какой форме сделать предложение? «Позвольте предложить вам руку и сердце?» Безобразно: точь-в-точь – приглашение на контрданс. «Хотите ли вы, Лидия Михайловна, быть моей женой?» Гм... Оно как будто бы и ничего, но для молодой девицы, пожалуй, немного деловито. А?

Словом, в этом пункте я ни на каком ясном решении не остановился.

В шесть часов утра, точно от внезапного толчка, я проснулся с мыслью о Лидочке и о предстоящем свидании. Через несколько минут, вздрагивая от холода и молодого восторга, чувствуя свежесть и упругость во всех мускулах, я уже перепрыгивал одним махом забор Лидочкина сада.

Утро, как нарочно, выдалось прохладное, золотое, веселое, звонкое такое. Трава лоснилась, точно яркий зеленый шелк, и на ней там и сям дрожали, играя разноцветными огнями, крупные алмазы росы. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую чашу липовой аллеи, ложились на песке дорожки круглыми движущимися пятнами. Мне казалось, что и птицы пришли в безумный восторг от этого чудесного утра, так они возились в кустах, так щебетали, свистели и чирикали. Боже мой! А у меня-то, у меня-то как в душе пелось, сколько во мне трепетало радости и силы!.. Был ли я когда-нибудь счастливее, чем в эти мгновения? Едва ли.

Я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка. Она шла очень скоро, склонив, по своей милой привычке, голову немного вниз. Ее тоненькая, изящная фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел ей навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна; темные кудри, наскоро причесанные

нетерпеливою рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!

Лидочка протянула мне обе руки. Я нагнулся, поцеловал сначала одну, потом другую. Она отняла руки и сказала: «Пойдемте дальше, здесь могут увидеть».

Я пошел следом за Лидочкой, любясь на красивые движения ее тела и прислушиваясь к легкому шуму ее платья, между тем как мое сердце билось восторженно и беспорядочно. Мы зашли в самый дальний угол сада, где так буйно разрослись высокие кусты сирени, что под ними всегда стояла темная и душистая прохлада. Лидочка как будто в нерешительном раздумье остановилась, стала на цыпочки и схватила рукой густую, упругую кисть белой сирени. Разрезной рукав капота упал вниз, и я увидел ее тонкую розовую руку с девически острым локтем. Ветка не поддавалась. Лидочка нахмурила брови, перегнула ветку так, что она хрустнула, и с усилием дернула к себе. Листья задрожали, и на нас вдруг посыпался целый дождь крупных, холодных капель росы. Я не выдержал. Аромат сирени, бодрящая свежесть раннего весеннего утра, розовая обнаженная рука в двух вершках от моих губ – все это внезапно лишило меня соображения.

– Лидия Михайловна, – сказал я дрожащим, нерешительным голосом, – знаете ли вы, что я... что вы... что я...

Лидочка обернулась ко мне. Должно быть, мой тон был ей очень понятен, но на ее лице я не прочел ничего, кро-

ме удивления и затаенного смеха, дрожавшего в уголках губ. Моя решимость так же быстро пропала, как и появилась.

– Что же вы замолчали? – спросила наконец Лидочка.

– Я... я... я, собственно, ничего не говорю... Вы вчера сделали мне честь почтить меня своим доверием... Если вам нужна услуга беззаветно преданного человека (я понемногу начал оправляться от смущения), то я буду вас просить выбрать непременно меня.

Лидочка понюхала цветы, поглядела на меня исподлобья и спросила:

– И я могу *во всем* на вас положиться, как на верного друга? Ах, какое бы это было в самом деле счастье; нет ничего святее и бескорыстнее дружбы!

Должно быть, Лидочка заметила мои разочарованно вытянутые губы и сжалилась надо мной. Она не знала, конечно, как бескорыстные друзья-женщины деспотически обращаются с друзьями-мужчинами. Я поспешил дать целый десяток самых красноречивых уверений. К своему горю, я уже начинал понимать, куда клонится дело.

– Если так, – сказала Лидочка, – то вы мне можете оказать очень большую услугу. Я решила совсем отдаться театру. Пусть это, впрочем, останется покамест только между нами. Конечно, мне раньше всего надо учиться и учиться, я это знаю, и вот поэтому-то мне и необходим опытный и строгий руководитель. Найдите для меня хорошего профессора и заслужите мою вечную признательность.

– Но как же, Лидия Михайловна, – пробовал я возразить, – ведь вам известно, что у нас здесь не только профессора...

– Знаю, знаю, – перебила нетерпеливо Лидочка, – я все это уже обдумала. Скажите, правда, что вы на днях собираетесь в Москву?

– Да, собираюсь, но, если вам угодно, могу и остаться. Дело не к спеху.

– Нет, непременно поезжайте и – как можно скорее. Через неделю я там буду с папой, и вы, если хотите, устройте для меня все. Хорошо? Можете вы это сделать? Ну вот, спасибо вам большое. А теперь идите, идите; папа сейчас проснется. И помните: самая строгая тайна!

Я ушел повеся голову. У меня сейчас же явилась мысль: как это я мог подумать, что я влюблен в Лидочку? Разве я влюблен? Просто я – ее друг, преданный, верный друг. Отец ее – добрый человек, но он ничего, кроме своего казначейства, знать не хочет; мать всю жизнь возится с нервами и докторами. Необходим же ведь Лидочке друг и советник, который бы охранял ее детскую неопытность.

Все-таки, как я ни старался утешить себя соблазнами солидной роли друга, а в душе у меня ныло и сверлило чувство обиды. В то зеленое время я не успел еще прийти к заключению, что судьба осудила меня на вечное безбрачие. Я, кажется, и на свет божий родился с какими-то особенными качествами старого холостяка. Сколько девушек поверяло мне

свои маленькие тайны, сколько дам избирало меня «первым другом»! А между тем, едва только мое сердце прилепится к какой-нибудь избраннице, – она меня сразу и огорошит. Либо поручение даст к счастливому сопернику, либо избежит меня сосудом излияния всяких нежных, но для меня совсем неинтересных чувств. Отчего это, господи, так постоянно выходило? Ведь не урод я, не калека, не женоподобен, не скажу, чтобы и глуп был особенно. Неужели взаправду есть несчастные, вылепленные из специально холостяцкого материала? А впрочем, черт побери, может быть, это вовсе и не несчастье!

Встретились мы с Лидочкой в Москве. Обо всем стоворились заранее. Я и о профессоре к ее приезду разузнал. Он в то время уже сошел со сцены, но фамилию его вы, наверное, слышали от ваших отцов и матерей. Это был известный артист – Славин-Славинский.

Однажды Лидочка сказала своим, что отправляется к тетке, а на самом деле встретила со мною в Пассаже, и мы вместе отправились куда-то на Пресню. С трудом отыскивали дом, где жил Славинский: скромная квартира с дешевенькими обоями и низкими потолками. На стенах гигантские венки с надписями на лентах: «Горе от ума», «Кин, или Гений и беспутство», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и дальше: «нашему дорогому», «высокоталантливому», «великому артисту» и так далее и так далее. Кроме нас, в гостиной дождался бритый господин в пенсне с морщинистым презри-

тельным лицом и две дамы, обе немолодые и некрасивые. Вышел к нам наконец профессор. Физиономия старого льва: косматая грива седых волос, смелые глаза и широкие ноздри. Он перекинулся двумя словами с бритым господином, сухо поклонился обеим дамам, затем подошел к нам и остановился, вопросительно глядя на Лидочку. Он своим долголетним чутьем догадывался, что весь смысл нашего визита находится в ней.

– Чем могу служить? – спрашивает.

Лидочка мгновенно сделалась пунцовой. Воображаю, сколько она еще раньше перемучилась, представляя себе этот вопрос. Но уже никакие смущения не могли ее поколебать. Она справилась с собой и сказала, глядя прямо в глаза профессору:

– Я бы желала... учиться у вас... драматическому искусству.

Я думаю, всякому из вас, господа, случалось: когда долго готовишь в уме какую-нибудь фразу, – непременно она в конце концов станет или худой, или пошлой, или напыщенно-неестественной. Славинский поглядел внимательно на Лидочку и сказал:

– Будьте добры, зайдите в мой кабинет.

Лидочка умоляюще оглянулась на меня. Профессор тотчас же поклонился и жестом уступил мне дорогу. Мы уселись в кресла, а Славинский принялся ходить из угла в угол.

– Для чего, собственно, угодно вам брать уроки? – спро-

сил он после некоторой паузы. – Желаете ли вы поступить на сцену или так... для себя?

Лидочка собралась с силами и отвечала смелым, но в то же время срывающимся от волнения голосом:

– Да, я хочу поступить на сцену.

– Хорошо-с. А вам известно, что вы можете поступить только на провинциальную сцену?

– Известно. Но я полагаю, что впоследствии...

Славинский покачал головой с таким видом, как будто бы хотел сказать: я эти слова слышу уже не в первый, может быть, даже не в сотый раз...

– Скажите мне правду, милая барышня, вы, верно, играли в любительских спектаклях?

– Играла.

– И верно, имели, к вашему несчастью, успех?

– Да, имела некоторый... Но почему же к несчастью?

Славинский остановился перед ней с ласковой улыбкой на своем красивом лице.

– Потому, милое мое дитя, что нет в мире ни одного такого сильного яда, как слава. И слаще его тоже ничего нет. Он даже в самых маленьких дозах действует неотразимо, хотя и медленно. Шумный успех, аплодисменты, напечатанная фамилия, – и вы отравлены, и вас неудержимо тянет к еще и еще большему приему сладкого яда. Я ведь знаю, что теперь совершается в вашей милой головке: тысячная публика, слезы восторга, оглушительный рев толпы и слава, слава,

слава... Ох, тернист, тернист этот путь! Что стесняться? Я не без чести прошел по нему, но дайте мне начать снова жизнь, я предпочту стать купцом или ремесленником. Верьте мне, я уже старик, и, наконец, лгать нет для меня никакого расчета. Через мои руки прошло много молодого народа, так же окрыленного надеждами, как и вы. Но спросите, где они теперь? Десять, пятнадцать человек приобрели кое-какую известность. О большинстве нет ни слуху ни духу. Крупный процент пошел по торной дороге пьянства, двусмысленного балаганного успеха, закулисных интриг и сплетен! Я ведь, голубчик, ни слова не говорю, когда лезут ко мне офицеры отставные, или купеческие сынки, или безнадежные, в смысле Гименя, девицы. Видали у меня в гостиной парочку? Это мой крест, за который мне, вероятно, многое простится. Но зато каждый раз, когда судьба приведет в мою гостиную молодое, стремительное существо, – мне все кажется, что я его толкаю собственными руками в глубокий и грязный омут. Вы и представить себе не можете, что это за клоака – провинциальная сцена...

Славинский говорил еще долго и убедительно. Не помню всех его слов, но, по-моему, трудно было не поверить его горячей речи.

Лидочка встала и, не поднимая глаз, начала суетливым, нервным движением надевать перчатки.

Славинский бросился к ней. Он по ее сердитому лицу убедился, что его слова были, яко кимвал бряцающий, и стал

извиняться. Он сознался, что увлекся, что ему не следовало бы всего этого говорить и что в конце концов он согласен давать уроки. Бог знает, что им руководило в его страстной речи: расчетливая игра на искренность или настоящее сердечное сочувствие?

– Что вы знаете наизусть? – спросил Славинский, когда мы уселись.

Оказалось, что Лидочка ничего, кроме басен, не знает, и те не решается говорить без книжки. Профессор достал с этажерки одну из книг в сафьяновых красных переплетах и, развернув ее наугад, подал Лидочке.

– Потрудитесь, – говорит, – прочитать.

Я заглянул через Лидочкино плечо и узнал не сравнимую ни с чем по красоте сцену прощания Ромео с Джульеттой, когда Ромео спускается утром по лестнице из окна своей возлюбленной. Лидочка начала очень неуверенно, путалась, немного торопилась – сцена была ей незнакома, – но все-таки, мне кажется, прочла очень и очень недурно. Профессор следил за ней с большим вниманием, хмурия слегка брови при ее ошибках.

– Хорошо, очень хорошо, – сказал он, когда Лидочка кончила и робко подняла на него глаза. – У вас есть способности, не беру на себя смелости сказать – талант. Во всяком случае, вы можете быть полезной работницей на сцене. Только надо учиться, учиться и учиться. Вот, потрудитесь послушать, как я прочту вам то же самое.

Ну и прочел же!

Вышли мы от Славинского порядком-таки сконфуженные, хотя профессор с нами был чрезвычайно любезен. По выражению Лидочкина лица я видел, что она осталась непреклонной.

Это было наше последнее свидание. Затем как-то сразу потерял я Лидочку из виду, потому что судьба меня вскоре опять бросила в захолустье. Я, господа, захватил еще доисторические времена, так сказать. Не только нашего клуба не было, или фонарей на улицах, или любительских спектаклей, но и лавок на весь город было только две. Зато, чего теперь нет, стоял целый полк Энэнских гусар. Если бы их теперь сюда, то-то наши девицы запрыгали бы! А в те отдаленные и невежественные времена присутствие Энэнских гусар в городе не только никого не радовало, но благочестивые старушки, ложась ночью в постель и заслыша на улице шпоры, творили, крестясь, молитву про царя Давида и всю кротость его. Да и у меня иной раз до сих пор волос становится дыбом при тех приятных воспоминаниях, которые связаны с энэнцами.

Впрочем, между ними были славные ребята и, главное, редкостные питухи. С одним – корнетом Алферовым – я жил вместе на квартире. Что нас связало, всегда оставалось для меня загадкой; мы жили в теснейшей дружбе, хотя по неделям не говорили друг другу ни слова. Правда, корнет Алферов с первого взгляда не поражал умом, но чем бли-

же приходилось его узнавать, тем он казался глупее. Говорил он мало или, вернее, не говорил, а выпаливал, и всегда с примесью собственных словечек: кобылячья голова, даме-ща – вместо дама, бекалия тентерь-вентерь и тому подобное. Когда он бывал дома (что, впрочем, случалось редко), я его всегда заставал в неизменной позе лежащим на диване: длинные ноги, закинутае вверх одна на другую, расстегнутая цветная рубашка, гитара в руках и папироса в углу рта. Весь его музыкальный репертуар, исполняемый необыкновенно фальшивым басом, состоял только из двух пьес. Одна, мажорная, пелась в антрактах между кутежами, в денежную полосу, приблизительно таким образом:

Бе-сются кони, брещат мундштука-ами,
Пе-няются, рвутся, храпя-я-ят.
Барыни, барышни взорами отчаянными
Вслед уходящим глядят.

Минорная пьеса отличалась самыми нелепыми словами. Помню только, что там говорилось о том,

Как приятно
Умирать в горячке,
Когда сердце бьется, как
У молодой собачки.

Словом, как видите, был отличный малый во всех отно-

шениях. Однажды, когда я предавался сладостному послеобеденному ничегонеделанию, влетает Алферов в мою комнату, делая на ходу воздушные пируэты. В руках у него большой лист красной бумаги. Я смотрю на него с недоумением.

– У нас, черт возьми, через три дня будет в городе драматическая труппа, – кричит Алферов. – Труппа, труппа, труппа-па! – И, напевая польку, которая бросила бы в пот последнего тапера, он начинает носиться взад и вперед по комнате.

Так как я достаточно хорошо знал Алферова с его эстетической стороны, то, не переставая удивляться, спрашиваю:

– Что же тут такого радостного?

– Как радостного? – изумляется, в свою очередь, Алферов. – А актрисы? Ура, да здравствует драматическая труппа!

Я беру из рук Алферова афишу и читаю следующее:

«Русско-малорусское товарищество драматических артистов, под управлением г. Максименка и при участии артистов Императорских театров г. Южина и г-жи Вериней, будет иметь честь дать в самое непродолжительное время в доме г. Соловейчика ряд блестящих представлений, в которые войдут выдающиеся пьесы как русских, так и прочих заграничных авторов.

Между прочим, в среду, 22 сентября, поставлена будет:

ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ

Драма в 5-ти действиях

Эта драма, с успехом исполнявшаяся на европейских столичных сценах и многих провинциальных знаменитостей. В заключение будет всеми артистами труппы поставлен разнохарактерный дивертисмент».

Помню я, поразили меня фамилии актеров. Тут были и Сапега-Никольский, и Малинин-Анчарский, и Смельская, и Андреева-Дольская, даже, наконец, Гнедич-Баратынская.

Среди нашей глухой, монотонной жизни даже учение местной инвалидной команды было зрелищем, собиравшим весь город. Нечего и говорить, что все места на первый спектакль доставались чуть не с бою, хотя театр, перестроенный на живую руку из яичного склада, отличался поместительностью. Мой корнет в этот вечер оделся особенно тщательно и крепко надушился духами пачули. Входя в театр, он так гремел саблей и шпорами, что сразу обратил на себя общее внимание.

Громадная зрительная зала (состоявшая из одного только партера) освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь. Театр быстро наполнялся. Из задних

рядов, где, стоя за барьером, помещалась толпа еврейчиков и солдат, привлеченная низкой входной платой, все громче и громче слышались разговоры, кашлянье и смех. Из-за занавеси, изображавшей двух гусей и торчащую из воды башню, доносились торопливые удары молотка, топанье ног и невнятные быстрые фразы. Между сценой и зрительной залой сидели, оборотясь лицом к публике, пять или шесть музыкантов с двумя скрипками, флейтой, тромбоном и турецким барабаном: в полном составе оркестр Гершки Шпильмана, игравший обыкновенно на еврейских свадьбах.

Чей-то здоровенный голос закричал с галерки: «Пора! Начинайте!» Его поддержали еще несколько голосов: «Время! Времечко-о!» Гершко постучал два раза нотами о пюпитр и, крикнув: «Ша!», оглянул музыкантов, разбиравших инструменты. Когда все успокоились, он взмахнул одновременно и головой и флейтой, приложенной к губам. Таким образом Шпильман играл и вместе с тем дирижировал флейтой, а оркестр играл «Маюфес» – национальный еврейский танец. Наконец за сценой зазвонили, и занавес поднялся.

Кажется, пьеса была переводная, с сюжетом, заимствованным из средневековой жизни, но в чем заключалось ее содержание, я так и не мог понять. Что действительно произвело в публике неожиданный, но великолепный эффект, так это – иностранные фамилии. Выходит, например, на сцену молодой человек, подходит к героине и, прикладывая руку к сердцу, рекомендуется: «Маркиза, я – Фернандо де ла Ка-

по ди Монте, племянник вашего старого друга графа д'Аргентюеля». Галерка приходит в неописанный восторг. «Так, так, валяй его, – слышатся оттуда голоса, – кат-тай его на все корки!»

Был в пьесе, я помню, иезуитский патер, тайная пружина всей драмы. Он говорил искусственно дребезжащим голосом и все смеялся шипящим смехом театрального злодея. Затем был молодой и благородный потомок древней фамилии. Эту роль исполнял актер, одетый в ботфорты со шпорами и в серую фуфайку, запрятанную в рейтузы Энэнского полка (как я потом узнал, все бутафорские и костюмерные принадлежности собирались за несколько дней до спектакля у доверчивых почитателей искусства). По наущению коварного патера, кто-то в чем-то оклеветал благородного потомка в болотных сапогах и навлек на него проклятие матери. Потомок прощается со своей возлюбленной, идет из города и, удрученный горем, скитается в лесах. Там он мимоходом убивает патера. Наконец, тоскуя по возлюбленной, он опять идет в город и на этот раз появляется перед публикой обросший волосами, в длинной блузе, подпоясанной веревкой, с кухонным ножом в руках. Застав возлюбленную в объятиях вероломного друга, он убивает обоих на месте преступления. Его ведут в тюрьму; он по дороге говорит еще один монолог и, вырвавшись из рук стражи, кидается в реку, куда за ним немедленно стремится и его мать, слишком поздно узнавшая о своей ошибке. Масса крови, длинные монологи с прокля-

тиями, иностранные имена, – словом, раздирательная драма во вкусе провинциальных трупп.

Чем дальше я слушал, тем сильнее возрастало во мне какое-то напряженное, гнетущее чувство не то стыда за этих ломающихся людей, не то жалости. Взглянул я на соседей – и у них у всех тоже болезненно сморщенные лица. Кричит человек, кривляется, бьет себя в грудь, и чувствуешь, сам он не понимает, как неприятно и жалко на него смотреть. Так бы, кажется, и закричал ему: «Добрый человек, зачем вы избрали такой неблагоприятный и тяжелый труд; если вы уж ни к чему больше не способны, наймитесь гранить булыжник: это занятие и легче, и почетнее, и прибыльнее, чем кривляние, возбуждающее только болезненную жалость».

Всего больше меня поразили тот самый актер, который играл благородного потомка. Судя по голосу, это был человек уже преклонного возраста. Вероятно, когда-нибудь он хоть мельком видел чью-то игру и твердо запечатлел в памяти пять-шесть артистических приемов, преувеличив их до последней крайности. Так, например, в минуты особенно трагические он уже не ходил, как ходят обыкновенно все люди, хотя бы и удрученные большим горем, а все падал. Опустит голову на грудь и начинает наклоняться вперед телом, точно падающая статуя, вот-вот, кажется, грохнется на землю. Но внезапно его ноги делают два быстрых шага вперед, голова взбрасывается вверх, глаза вращаются, и руки с растопыренными и скрюченными пальцами вытягиваются в про-

странство. А между тем, боже мой, сколько рвения влагал он в свою роль! Он играл без парика, и, верите ли, я сам видел, как он действительно рвал на себе волосы. Когда он бил себя кулаками по впалой груди, удары эти раздавались по всему театру и заставляли галерку ржать.

Когда кончилось первое действие, я вышел в холодные сени покурить. Ко мне подбежал сияющий и гремящий Алферов.

– Был! Видел! – крикнул он еще издалека. – Одна – прехорошенькая.

– Кого видел-то?

– Актрис. Три – рожи, а одна – прелесть.

– Что же, ты познакомился?

– Нет еще. Я покамест – в шелку. Знаешь, неловко как-то.

Я думаю ротмистра попросить, он этим ничем не смущается. Вон он стоит, курит. Подойдем к нему.

Этот ротмистр, последний отпрыск знаменитого гусарства времен партизанских войн и Дениса Давыдова, уже и в то отдаленное время являлся в наших глазах почтенным и немного странным анахронизмом. Он мог выпить колоссальное количество всяких водок и вин, обладал знаменитым в дивизии голосом, рыцарски вежливо обращался с женщинами и деспотически с мужчинами. Мы подошли к нему.

– Голубчик, ротмистр, – не то смеясь, не то робея, не то заискивая, сказал Алферов, – я хочу с актрисами познакомиться. Можно это?

Ротмистр скосил на него глаза.

– Ну, а я-то здесь при чем?

– Знаете, неловко как-то. Не умею я предлога найти. И вообще... неловко.

– Не умеешь? А нос-то свой ты сам вытираешь? – пустил ротмистр густым басом. – Иди прямо за кулисы и говори: вот, мол, я такой-то и такой, корнет, и меня, мол, по правде сказать, надо еще в пеленках держать. Глуп ты, Алферушка, молод и глуп. Пойдем.

Осчастливленный Алферов побежал за ротмистром, а я вернулся в душную залу на свое место; Гершко опять сыграл «Маюфес», занавес медленно и неуклюже поднялся. В глубине сцены жестикулировали два актера, в стороне от них, близко к рампе, сидела молодая женщина, оборотясь лицом к публике. В первом действии она не выходила, иначе я бы сразу ее заметил. Сначала я сам не сознавал, почему она так приковала к себе мое внимание. Потом лицо ее показалось мне до такой степени знакомым, что я ждал только ее голоса. «Если она заговорит, – думал я, – я, наверное, вспомню». И когда она заговорила, я тотчас же узнал Лидочку. Как она изменилась за эти три года! Ничего еще, если бы она только осунулась и постарела; нет, она еще была настолько молода и красива, чтобы сразу пленить веселого корнета. Но в ее лице, в усталых движениях, в нервном, измученном голосе сказывалось давнишнее затаенное страдание, сказывалось даже сквозь привычную ложь театральной напыщенно-

сти. Я оставил Лидочку шаловливой, грациозной девушкой, чуть не ребенком, а теперь с удивлением и глубокой жалостью смотрел на женщину, уставшую жить. Видно было, что этот страдальческий оттенок приобретен не на сцене, а за кулисами. В памяти моей невольно возник первый театральный дебют Лидочки, – теперь и следа не оставалось ее прежней наивно-пленительной простоты. Теперь она держалась перед глазами публики свободно, я сказал бы, даже слишком свободно; теперь она только улыбалась, неестественно показывая зубы, как и все до одной актрисы, так же напряженно и деревянно хохотала, так же ломала руки с вывертыванием наружу локтей. Я поглядел в афишку: оказалось, что по сцене Лидочка называется Вериной.

Едва кончилось третье действие, как я увидел Алферова, который торопливо пробирался ко мне, наступая на чужие ноги и звякая оружием по чужим коленям.

– Пойдем, голубчик, за кулисы, там все наши. Только тебя и дожидаемся. Видал Верину? Мамочка! Сейчас меня с ней обещали познакомить. Разве букет закатить? А? Как ты думаешь?

Мы пошли кругом всего театра узким неосвещенным коридором, несколько раз опускаясь и поднимаясь в совершенной темноте по каким-то лестницам. Алферов, уже знакомый с расположением театра, вел меня за руку. Мы вошли в уборную, большую сырую комнату с земляным полом и с узкой лестницей прямо на сцену. Два угла, отгороженные дос-

ками, служили мужчинам и женщинам для одевания. В облаках табачного дыма, при коптящем мерцании двух ламп, сначала трудно было что-нибудь разобрать. Народа в уборной толкалось чрезвычайно много. Из наших сюда, кроме меня, Алферова и ротмистра, забрался еще земский доктор, большой, грязный, приторный и болтливый циник. На столе, посередине комнаты, в беспорядке были разбросаны сардинки, яблоки, сыр, водка, красное вино и пирожное.

Общество было еще недостаточно знакомо и недостаточно пьяно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Поэтому нашему приходу все очень шумно и преувеличенно обрадовались. Алферов подвел меня сначала к трем актрисам, которые подозрительно чинно сидели рядом, стеснившись на узком плетеном диванчике.

Первая – старая, очень полная женщина с добрым и смешным лицом – мне очень понравилась. Алферов сказал, что это madame Венельская, а она сама, крепко трянув мою руку, прибавила с улыбкой: «Комическая старуха». Другая очень бойко и отчетливо назвала себя: «Андрева-Дольская». Лицо этой особы, с курчавыми и жесткими черными волосами, с наглым взглядом больших серых глаз, с негритянским ртом, красноречиво говорило о низменных инстинктах. Третья оказалась вялой, нервной и болезненной блондинкой, немного косоватой, но недурненькой. Ее тонкая и длинная рука была холодна и влажна.

Мужской персонал отличался затасканными костюмами и

полным отсутствием белья, jeune premier ¹, не в меру развязный и единственный франтоватый человек во всей труппе, назывался Южиным. По-видимому, он страдал хроническим воспалением самолюбия: физиономия его ни на минуту не теряла выражения готовности немедленно обидеться.

– Вы не родственник тому, знаменитому Южину? – спросил я, желая сказать ему приятное. Jeune premier тотчас же обиделся, заложил руки в карманы и отставил правую ногу вперед.

– То есть почему же это: знаменитому? Что он на императорской сцене? Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются!

– Но позвольте, зачем же так строго? – спросил я как можно мягче. – Там же все средства есть, чтобы вполне изучить дело. По крайней мере, так мне кажется.

Я еще не договорил, а Южин уже начал смеяться горьким смехом.

– Вам так кажется? – воскликнул он с оскорбленным и ироническим видом. – Вам так кажется! И так будет казаться всякому, кто к делу близко не стоит, а берется судить. Вы говорите: изучить! А я вам скажу, что изучение погубило чистое искусство. Разве я могу играть на нервах зрителей, если у меня каждый жест, каждая поза вызубрена? Знаменитость! Техника, и – ни на грош чувства.

– Но как же... без разработки?

¹ Первый любовник (*фр.*) – театральное амплуа.

– А так же-с, – отрезал Jeune premier, – очень просто. Я – например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Потому что я – артист нервный, я играю, как скажется. Эх, да разве эта публика что-нибудь понимает? Вот когда я играл в Торжке с Ивановым-Козельским – меня оценили, меня принимала публика. Это я могу сказать.

– Что вы там говорите про Козельского, – вмешался чей-то женский голос. – Ваш Козельский давным-давно выдохся. Нет, вот когда я служила с Новиковым... Это – артист, я понимаю.

– А я вам доложу, что ваш Новиков – марионетка, – окрысился грубо Jeune premier, побледнев и сразу теряя наигранный апломб. – И никогда вы с ним не играли!

– А я вам доложу, что вы – нахал. Вас в Торжке гнилыми яблоками закидали, а вы говорите, что вас принимала публика!

Вскипевшая ссора с трудом была потушена антрепренером, добродушным и плутоватым толстяком.

– Арсений Петрович! Марья Яковлевна! – вопил он, кидаясь то к Jeune premier'у, то к артистке, между тем как спорящие с злыми лицами порывались друг к другу. – Ради бога! Рад-ди бога, я вас прошу. Ну разве можно? Ведь опять, как в Ряжске, полиция прикажет опустить занавес. Послушайте, господин, не имею чести знать вашего святого имечка (он подбежал ко мне и взял меня за рукав), может быть, вы повлияете? Скажите им-с! И ведь главное, не со зла все это. А

знаете, вот тут, – он потер кулаком кругообразно по груди, – вот тут... кровь, знаете, горячая. Художник! Ведь умнейший человек-с. Почти всю гимназию кончил. Впрочем, сами сейчас изволили слышать, как они насчет искусства-то...

Потом этот милый импрессарио весь вечер сновал между нами и шепотом упрашивал, чтобы не давали водки актерам. Особенно беспокоился он за трагика, игравшего роль благородного потомка.

– Анчарский, душечка моя, – упрашивал он, – ведь вы же меня зарежете. Прошлый раз вас в «Лире» насилу за ноги выволокли. Для чего вам пить-с? Не пей вы этой проклятой водчищи, вы бы украшением русской сцены могли сделаться.

Трагик, старый человек с слезящимися глазами, сидел перед зеркалом и, с хрустом пережевывая огурец, расписывал себя коричневым карандашом.

– Не бойся, Иван Иванович, – успокоил он антрепренера, – Анчарский не выдаст, Анчарский знает границу! А без этого нам, трагикам, жить невозможно. Сильные ощущения!

В это время его позвали на сцену, и он неверными шагами поднялся по лестнице. Навстречу ему спускалась, держа в одной руке сумку на длинном шнурке и придерживая другою платье, Лидочка.

Не могу я вам передать, что сказало ее лицо, когда она меня увидела (я бросился к ней навстречу). На нем выразилось и усилие воспоминания, и недоумение, и тревога, и радость, мгновенно вспыхнувшая и так же мгновенно погасшая, за-

менившаяся сухой суровостью.

– Лидия Михайловна, – сказал я, волнуясь и заглядывая ей в глаза, – Лидия Михайловна, при каких странных условиях нам приходится встречаться!

Лидочка совсем враждебно нахмурила властные брови.

– Да, мы с вами, кажется, немного знакомы, – сказала она. – Только странного в нашей встрече я ничего не вижу.

И, отвернувшись от меня, она пошла к сидящим на диване артистам. Я в то время был слаб в знании жизни, и ее сухость глубоко меня уязвила, тем более что вся эта сцена произошла перед многочисленными зрителями и вызвала полузадушенный смешок. «За что она меня так обрезала? – думал я в замешательстве. – Я, кажется, кроме радости видеть ее, ничего не высказал».

Между тем Алферов, звякая шпорами, уже давно нес Лидочке страшную чепуху: «То высокое наслаждение, которое испытали все зрители, которые при виде той, которая сумела воплотить...» Наконец он так запутался в роковых «которых», что сконфузился и нежданно-негаданно закончил речь громогласным требованием шампанского.

Пробки захлопали, стулья придвинулись к столу, уборная сразу наполнилась гулом мужских и женских голосов. Доктор, точно с цепи сорвавшись, начал налево и направо сыпать анекдотами, ротмистр потрясал своим могучим хохотом дощатые стены. Алферов суетился восторженно и бессмысленно, женщины быстро раскраснелись, закурили папиросы и

приняли свободные позы. Говорили все сразу, и никто никого не слушал. Оставалась серьезной и все время молчала одна только Лидочка. Напрасно я искал встретиться с ней глазами – мне так много хотелось сказать ей, – ее взгляд скользил по мне, как по неодоушевленному предмету. На любезности Алферова она даже не считала нужным и отвечать.

Чем больше шумели «talанты и поклонники», тем больше волновался антрепренер: «Господа, прошу вас, тише, пожалуйста, потише, господа. Ведь последнее действие, самое трагическое место!.. Ради бога! Вы весь эффект испортите, господа! Вас слышно из залы...»

Но неожиданно, в самом трагическом месте драмы, из зрительной залы донесся до нас бешеный взрыв хохота и аплодисментов. Все изумленно переглянулись. Увы! Это означало только то, что Анчарский, «знавший границу», не мог подняться со стула, несмотря на усилия двух сопровождавших его тюремщиков. Когда он появился наконец на верху лестницы, ведущей в уборную, антрепренер кинулся на него с бранью, с упреками, задыхаясь от бешенства.

– Несчастный человек! Пьяница! Что вы со мной делаете! – вопил он, потрясая кулаком. – Вы ведь с голоду без меня подошли бы, я вас из грязи поднял, а вы... Как это подло, как это низко! Пропойца!..

– Друг мой! – прервал его Анчарский растроганным голосом. – Я изнемог под сладкой тяжестью лавров. Оставьте меня...

Оглянувшись вокруг, он бессильно пал рядом со мною на свободный стул и вдруг, опустив лицо в ладони, горько заплакал.

– Никто меня не понимает, – услышал я сквозь рыдания, а чей-то голос с другого конца стола запел что есть мочи:

И никому меня не жаль.

– Знаете, о чем он убивается? – вмешалась черноволосая актриса – по-видимому, неугомонная и неуживчивая особа. – У него на прошлой неделе жена сбежала.

– Жена? Неужели? – спросил я участливо.

– Ну да, жена. Театральная жена.

– То есть как это – театральная?

– Ах, какой вы странный. Господа, посмотрите, какой он наивный. Он не знает, что такое театральная жена!

Некоторые с любопытством на меня обернулись. Я неизвестно отчего сконфузился.

– Это вас удивляет? – высокомерно обратился ко мне Jeune premier (мне кажется, он даже назвал меня молодым человеком). – Мы – свободные художники, а не чиновники консистории, и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена – только термин. Я так называю женщину, с которой меня, кроме известных физиологических уз, связывают сценические интересы...

Он долго говорил в этом роде, но я уже не слушал его,

меня беспокоило то, что под общий шум и хохот происходило на другом конце стола между Алферовым и Лидочкой. По ее сдвинутым бровям и гневно сжатому рту я заметил, что она оскорблена. Алферов был уже на третьем взводе. Он беспомощно качался взад и вперед на стуле, силясь поднять закрывающиеся веки.

– Послушайте, – донесся до меня возбужденный, но сдержанный голос Лидочки, – вы меня не можете оскорбить. Я и не такую гадость слышала. Но неужели вы не понимаете, что я с вами не хочу даже говорить.

Алферов качнулся на стуле.

– К-да я не м-гу? Нас все равно не слышат. Я же от чистого сердца! Квартира, лошади и все такое... Понимаете? И чтобы что-нибудь?.. Н-ни-ни! Ни боже мой! потом разве когда-нибудь за хорошее поведение, а теперь н-ни-ни! *L'appetit vient en mangeant*². Ты чего нас подслушиваешь? – погрозился он с пьяной улыбкой, заметя мой взгляд.

Тогда и Лидочка на меня посмотрела. Глаза ее засверкали негодованием.

– Скажите, пожалуйста, – воскликнула она, умышленно возвышая голос, так, чтобы ее все слышали, – вы так обращаетесь со всеми незнакомыми женщинами или только с теми, за которых не может вступиться мужчина?

Алферов опешил. Со всех сторон посыпались вопросы:

– Что такое случилось? В чем дело? Кто кого обидел?

² Аппетит приходит во время еды (*фр.*)

– Какие нежности, подумаешь, – язвительно хихикнула через стол черноволосая актриса, – точно ее от этого убудет!

Лидочка перевела на нее сверкающие глаза. Щеки ее мгновенно побледнели и так же мгновенно вспыхнули ярким и неровным румянцем.

– Меня от этого не убудет, madame Дольская, – крикнула она, – а прибудет только скандальной славы про наши бродячие труппы... Вы видите: этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей идти на содержание. Какой же вам нужно еще обиды, если вы этого не понимаете?

Внезапно в уборной поднялся невообразимый гвалт. Актрисы закричали все разом, мужчины принялись ругаться между собою, припоминая друг другу старые счеты в виде каких-то разовых и бенефисных, упрекали друг друга в воровстве и неспособности к сцене. Земский доктор пригнулся к столу и, приставив ко рту руки в виде рупора, кричал пронзительным голосом: «Вззы его, куси его! Вззы, вз-зы!» Анчарский, заснувший было на стуле, поднялся и подошел косвенными шагами к Лидочке, стоявшей посреди кричащей группы актеров.

– Дитя мое! – завопил Анчарский, расставляя широко руки. – Божественная Офелия! Преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь, и будем плакать вместе!..

Но Лидочка была близка к обмороку. Я подбежал к ней, оттолкнул трагика и схватил ее за руку. Она невольно пошла

за мною, вся дрожа от волнения. Чьи-то услужливые руки накиннули на нее ротонду и платок, и мы вышли на улицу. Не знаю, слыхала ли она, но вслед нам из уборной вылетел целый поток ругани.

– Как будто бы мы не знаем, что за дрянь эта Верина, – визжала громче всех Дольская, – прикидывается угнетенной невинностью, а у самой в Тифлисе ребенок был!

Крупные хлопья снега бесшумно валились на землю, мелькая, точно белые звезды, в ночной тьме. Нога ступала, как по пушистому ковру, по слою молодого, мягкого снега.

– Что же вы молчите? – раздражительно обратилась ко мне Лидочка, когда мы отошли шагов сто от театра.

– Что же здесь говорить? – пожал я плечами.

Она насильственно рассмеялась.

– А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Давеча вы так трагически меня приветствовали! «При каких странных условиях нам приходится встречаться». О!! Я отлично поняла смысл вашего восклицания, хотя, может быть, оно даже невольно у вас вырвалось. «Прежде ты была женщиной моего общества, – хотели вы сказать, – и я относился к тебе с тем условным почтением, на которое меня обязывало наше знакомство. Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным».

Я понимал, что Лидочке нужен был предлог, на который она могла бы излить вскипевшую в ней злобу, и потому продолжал молчать. Это ее, по-видимому, еще более раздражало.

– И вот вы являетесь за кулисы. «Актрисы – это интересно! Легкие нравы, веселые разговоры и дешевые амурсы!» Любопытно взглянуть поближе. У вас еще сравнительно довольно приличная цель. Тот пошляк прямо явился, как... А знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли как на диковинный сброд полюбоваться, а, по-моему, этот сброд чище и лучше, чем все вы, приглашенные, прилизанные и развратные. Вы видели сейчас, как мы скандальничаем, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что же? Зато вы не видали, как те же бродячие голодные актеры, все – целой труппой, закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу! Зато вы не видали, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер! Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. О, как я ненавижу вас, покровители искусства, закулисные меценаты! Сто раз лучше тонуть в нашей грязи, чем пользоваться вашими гнусными милостями. Прощайте. Вот моя калитка. Благодарю вас за вашу любезность, хотя я и сама нашла бы дорогу. Она отворила калитку и пошла вперед, не оборачиваясь.

– Лидия Михайловна! – воскликнул я, простирая к ней

руки. – Неужели мы так и простимся? вспомните, ведь мы никогда не были врагами.

Она остановилась.

– О чем же нам еще говорить? Разве у вас есть теперь что-нибудь общее с странствующей комедианткой? А впрочем, если уже вы хотите составить целое впечатление, то зайдите. По крайней мере, увидите, как мы живем. Что же вы остановились? Не бойтесь – у меня театрального мужа нет.

Слова ее еще продолжали быть язвительными, но тон смягчился. Должно быть, улеглась острая потребность оскорблять и чувствовать себя оскорбленной, а моя кротость еще более ее обезоружила.

Я вошел в дом. Лидочка занимала одну комнату. Что это была за комната! Крошечные окна, низкий, кривой потолок с балками внутрь, известковые стены, синие от сырости, узенькая железная кровать и стол с зеркалом, завешенным шитым полотенцем. Лидочка зажгла грязную лампу без абажура и опустилась на стул совершенно изнеможенная. Руки ее бессильно легли по коленам, усталые и грустные глаза неподвижно устремились на огонь лампы. Теперь меня еще больше, чем в театре, поразило страдальческое выражение ее лица. Повинуясь безотчетному влечению жалости, я приблизился, осторожно взял одну из ее бледных, тоненьких ручек и прижал к губам. И вдруг – ласка ли моя подействовала, нервы ли усталые не выдержали – Лидочка порывисто прижала лицо к моей груди, охватила рукой шею и, вся сотряса-

ьясь, зарыдала. Знаете, всегда так: таится-таится в человеке давнее неразделенное горе, а потом как прорвется, то и удержу нет слезам. И тут Лидочка с истерическим плачем, целуя мои руки, передала мне печальную повесть своей жизни.

После нашего московского визита к Славинскому она благополучно воротилась домой. Может быть, ее сценическое увлечение так и кончилось бы без губительных последствий, если бы она не встретила со своей бывшей гимназической подругой – провинциальной артисткой. Бог знает, что эту артистку заставило расхваливать свою жизнь: природная ли тупость, нечувствительность и неразборчивость, или женское хвастовство, или злой, мстительный умысел неудачницы, но встреча с подругой решила Лидочкину участь. Она поступила на сцену. Сначала она все видела в розовом свете. Внешняя сторона дела, то есть бедность, голод, долги, жалкая театральная обстановка – для нее не существовали. Но вскоре к искусству примешалась любовь. Судьба столкнула ее с артистом – его имя и теперь еще довольно известно, я не буду его называть: это красивый лгун с горячими словами и холодным сердцем. Он записал себя в российские Кины, у него были художественные странности и капризы, а Лидочка должна была восхищаться им и находить проблески гения в проявлениях его животной природы. Когда Лидочка сказала ему, что через три месяца она должна родить, он по-воровски, тайком бросил ее на произвол судьбы. Ребенок умер. Что было потом? Целая вереница скучных дней, жалких ап-

лодисментов по вечерам, ночных оргий... Она приучилась пить. По крайней мере, не сосет за сердце всегдашняя тоска. Родные раньше преследовали ее письмами, и она не прочь была бы возвратиться, но после ребенка в ней заговорила ее собственная, своеобразная гордость. Если она раньше не пришла, когда еще было время, то как же она могла бы прийти, вынужденная крайностью. И в этой странной гордости я узнал прежнюю Лидочку.

– Вы мне, родной мой, простите, что я вам дорогой наговорила, – просила она, глядя на меня прекрасными, умоляющими глазами. – Уж очень больно мне было. Как я вас увидела, так мне все мое прошлое и кинулось в память, хорошее такое, ничем не загрязненное. И тому, что об артистах говорила, не верьте. Уколоть мне вас хотелось, злобу свою сорвать. Помните, как мы вместе были в Москве у Славинского? Тысячу, тысячу раз он был прав. Хотя и он тоже хорош, нечего сказать!.. Только тут не тернии даже, а сплошная мерзость. Ведь нет дня, чтобы меня не оскорбляли чем-нибудь! И бросила бы я сейчас же эту проклятую сцену, да разве можно? Я обо всем, понимаете, обо всем своих известила; корабли нарочно за собой сожгла. С какими глазами я теперь явлюсь? Ну разве об этом можно думать! Разве можно? Ради бога, скажите: разве можно?

Столько настойчивости было в этих торопливых вопросах, так жадно они ждали моего ответа, что мне стало понятно, как часто мучила ее мысль о возвращении домой. Я по

возможности простыми и искренними словами старался ее успокоить: сказал, что она не только может, но даже должна возвратиться к своим старикам, что она теперь, больная и замученная, вдвое им дороже, как матери дороже больной ребенок, что никогда не поздно отдохнуть физически и нравственно от этой тяжелой жизни.

Лидочка очень внимательно меня слушала, не выпуская моей руки и изредка глубоко и прерывисто вздыхая, как ребенок после долгого плача. Ее еще не высохшие от слез глаза заблестели радостной надеждой. Незаметно для нас самих мы перешли к нашим общим воспоминаниям и долго сидели рядом, тесно составив стулья, позабыв о приключениях этого вечера, не уставая спрашивать и отвечать, точно брат и сестра после долгой разлуки. Лидочка и смеялась каким-то стыдливым, детским смехом, и вздыхала, и как будто сама не верила тому, что в ней в эти минуты происходило. Наконец, когда огонь начал потухать в лампе, я спохватился и стал прощаться.

– Я жду вас завтра, – сказала Лидочка, крепко пожимая мою руку. – Помните: как вы скажете, так и будет. Я вам так верю, что даже принять от вас помощь для меня будет легко.

И опять в эту ночь, так же как несколько лет тому назад, после моего прощания с Лидочкой, я долго не мог заснуть, и опять мне пришлось в голову сделать ей предложение. Меня растрогал рассказ о ее скитальческой жизни, и мне всеми силами хотелось дать ей отдохнуть, приласкать ее и успоко-

ить. «Женщина, много страдавшая, должна уметь и много любить, – думал я, ворочаясь с боку на бок, – она будет самой нежной женой и матерью. И уж, конечно, если она станет моей женой, никто не посмеет упрекнуть ее позором прежней жизни».

Так я рассуждал, потому что до сих пор не встречал еще людей, похожих на Лидочку. Но вышло на другой день нечто неожиданное, странное, на мой тогдашний взгляд, даже нелепое. Вам приходилось, господа, слышать, как в церкви возглашают моление: «О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, чающей Христова утешения»? Вот Лидочка-то именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди. Треплет-треплет их судьба и так в конце концов изуродует и ожесточит, что и узнать трудно. Много в них чуткости, нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны – гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение и в себе и в людях, склонность во всех своих ощущениях копать-ся и, главное, какой-то чрезмерный, дикий стыд. Нашла минута – отдаст он вам душу, самое дорогое и неприкосновенное перед вами выложит, а прошла минута – и он вас сам за свою откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Позднее я догадался, что и Лидочка была из числа этих загнанных судьбою. Утром меня разбудил денщик Алферова (самого корнета так всю ночь и не было

дома). Подает мне Кирилл записку, у меня и сердце екнуло.

– От кого? – спрашиваю.

– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Какой-то жидочек приносил. Сказывает, ответа не нужно, а сам убег.

Записка была от Лидочки.

«Милостивый государь Николай Аркадьевич, – писала Лидочка, – я думаю, вам не менее меня стыдно за вчерашнее. Все, что я вам говорила, – следствие минутной слабости нервов. Как вы ни великолепны с вашим благородием, я предпочитаю свою свободу и любимое дело, которому я буду служить так же, как и другие, не мудрствуя и не осуждая. Пишу вам второпях, потому что меня дожидают лошади Алфёрова. Повторяю еще раз, что, кроме взаимного стыда, между нами ничего быть не может».

Я посмотрел на часы – было уже далеко за полдень, – поспешно оделся и кинулся на поиски за Лидочкой. На ее квартире старая и грязная еврейка сказала мне, что «барышня только что уехали». «Таких было хороших двоих коней у коляска, точно у габирнатора». Я долго находился бы в затруднении, куда отправиться дальше, если бы меня не осенила мысль заехать в театр. Действительно, не доходя еще до уборной, я услышал в ней шум многочисленной компании. Я отворил дверь, и моим глазам представилась следующая сцена.

Посреди комнаты, на столе, уставленном пустыми и целыми бутылками от шампанского, стояла Лидочка, растрепан-

ная, раскрасневшаяся, с бокалом в высоко поднятой руке. Кругом нее, стоя и сидя, толпились: Алферов, доктор, рот-мистр и еще человек пять-шесть наших городских шалопаев. В глубине комнаты, глядя с недоумением и некоторой тре-вогой на происходившее, стояла группа артистов. Моего по-явления никто не заметил, потому что внимание всех было поглощено тем, что в эту минуту Лидочка с выразительной жестикуляцией пела с своего возвышения:

Какой обед нам подавали!
Каким вином нас угощали!
Уж я пила, пила, пила
И до того теперь дошла,
Что, право, готова... готова...
Ха-ха-ха-ха-ха...
Тсс... об этом ни слова!

И вдруг наши глаза встретились. Она мгновенно поблед-нела, пошатнулась, и бокал со звоном и дребезгом покатился по полу. Все обернулись на меня.

– Господа, – закричала Лидочка, злобно блеснув глаза-ми, – кто хочет пить вино из моей туфли?

– Я, я, я! – раздалось сразу несколько голосов.

– Всем сразу нельзя. Алферов, сними!.. И она протянула свою маленькую ножку Алферову. Тот снял туфлю и поста-вил в нее бокал.

– Выпьем за здоровье Николая Аркадьевича, – продолжа-

ла возбужденно Лидочка.

– Он вчера ночью обращал меня на путь спасения. Да здравствуют добродетельные молодые люди!

– Уррра! – заорала громогласно подкутившая компания.

– У него, однако, губа не дура, – перекричал всех доктор, – дайте ему за это вина!

Меня охватила злоба.

– Поздравляю вас, Лидия Михайловна, – сказал я с насмешливо низким поклоном. – Вы действительно превосходная артистка, но я теперь только понял, какие побуждения влекли вас на сцену.

Я вышел из уборной, сопровождаемый общим хохотом. Впрочем, не все ли мне было равно? Настоящей подкладки этой дурацкой сцены никто не знал, хотя смешная-то роль, во всяком случае, выпала на мою долю... Да и что говорить: злая роль, мстительная и несправедливая...